

# Юрий Васильевич Бондарев

## Выбор

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

После ухода гостей было пусто и тихо, еще горели в передней бра по бокам зеркала, еще не были погашены люстры в комнатах, мягко светил нежнейшей полутьмой сиреневый купол торшера над тахтой, везде пахло сигаретным дымом, чужими духами; и было немного грустно оттого, что всюду сдвинутые с мест кресла, переполненные окурками пепельницы, обгорелые спички на ковре, неприбранные бокалы с торчащими из недопитых коктейлей соломинками и горы тарелок на кухне - все это напоминало хаос незаконченного и обидного разгрома в квартире.

Васильев, обессиленный бесконечными разговорами об искусстве, лестью и приятными улыбками, проводив до лифта последних гостей жены, с облегчением подвязал ее кухонный передник и принялся сверх меры старательно убирать посуду в столовой. Однако Мария умоляющими глазами остановила его ("не надо сейчас...") и села на диван, обнимая себя за плечи, задумчиво отвернулась к окну, за которым густо синела февральская ночь.

- Слава богу, наконец-то, - сказала она. - Меня ноги уже не держат.

- Ты знаешь, сколько времени? - спросил он встревоженно. - Второй час...  
Ничего себе! Хорошо, что ты не открыла причину торжества. Конца и краю тостам до утра не было бы. Как это, Маша, - с днем ангела? Или с днем именин?

- Я очень устала, - проговорила она, закуривая, и улыбнулась ему вскользь. - Благодарю, милый... и не будем об этом. Это все несущественные детали и все не стоит того... Спокойной ночи! Я немного посижу одна. Иди спать, пожалуйста...

Он почувствовал неискренность ее слов, и это фамильярно-классическое "не стоит того", и это салонно-светское "благодарю, милый" как будто неприятно загородили ее, отдаляя в чуждую ей манерность, заметную в дни размолвок, прежде нечастых, которые сразу создавали головокружительную зыбкость качнувшегося моста.

- Да, Володя, иди, пожалуйста, иди же, - повторила Мария с усталой настойчивостью и, прислонив дымящуюся сигарету к краю пепельницы, налила себе красного вина. - Если ты хочешь мне что-то сказать серьезное о моих гостях, то сейчас говорить не надо - я не хочу...

- Я мало с кем знаком из твоих гостей, Маша.

- И может быть, поэтому ты был очень мил. Всех женщин очаровал.

Она отпила глоток; он увидел, как сдвинулось ее горло и осталась влажная красноватая полоска на ее губах, родственный и нежный вкус которых он так хорошо знал.

- Маша, о чем ты говоришь? Женщин? Очаровал? Этого я не уразумел.

- Я прошу тебя - давай помолчим...

Нет, он не помнил, чтобы раньше после ухода гостей она сидела вот так одна на диване, заложив ногу за ногу, рассеянно пила, в задумчивости затягивалась сигаретой, покачивая узким носком туфли, - еще четыре месяца назад он посчитал бы это за некую прелевую игру, предложенную ему

(ради озорного развлечения) из какого-нибудь пошленького иностранного фильма, банального фарса, переведенного ею для закупочной комиссии на просмотре в главке, и готов был, как иногда бывало раньше, услышать ее смеющийся протяжный голос: "Ита-ак, мосье, мы проводили гостей. Ушли знаменитости! Какое облегчение! Что же мы будем делать? Ты уедешь в мастерскую? Или останешься со своей женой?" Он сейчас не ждал подобной фразы, а несколько озадаченно глядел на то, как Мария медлительно пригубливала бокал между затяжками сигаретой, но ему почему-то не хватало решимости удивиться этому ее желанию, похожему на каприз или вызов, поэтому он сказал с шутливой неуклюжестью:

- Ты не очень разгулялась, Маша? Ничего не случилось?

- Господи! - она опустила глаза, точно преодолевая боль, и он увидел ее ресницы, тяжелые от слез. - Неужели ты не понимаешь простых вещей - мне хочется побыть одной. Пойми меня, пожалуйста, я одна хочу отдохнуть от всего на свете...

- Прости, Маша, - сказал он виновато и вышел из комнаты.

Коридор и переднюю еще празднично озаряли бронзовые свечеобразные бра, легкомысленные и бессонные в тишине ночной квартиры, и возле телефонного столика серебристой пустотой отсвечивало пространство зеркала. Васильев мельком взглянул на свое нахмуренное, бледное от утомления лицо ("Лучше всего - уехать мне сейчас в мастерскую..."), потом выключил свет, эту запоздалую электрическую иллюминацию близ зеркала, мгновенно ставшего таинственно-темным, и долго в передней надевал теплейший полутулуп, любимый им, в котором зимой ездил на природу, долго

возился с "молниями" меховых ботинок, раздумывая о позднем времени, когда ехать в мастерскую бессмысленно, но Мария молчала, не останавливала его, не выходила в переднюю, чтобы проводить до двери, подставить щеку для поцелуя, что было заведено между ними.

- Я пошел, Маша, - сказал он, стараясь говорить буднично и внушая себе, что ничего серьезного не произошло. - Я пройду по воздуху и подышу. Спокойной ночи!

- До свиданья, Володя, я утром позвоню, - отозвалась Мария из гостиной предупредительным, почти ласковым тоном, и он вышел на лестничную площадку, закрыл своим ключом дверь.

Ожидая лифт под желтой лампочкой на восьмом этаже спящего многоквартирного дома, он услышал сдавленный смех попеременно с шепотом и покосился в сторону окна, где подле батареи (как бывало почасту) стояла парочка, заметил что-то знакомое в девичьей фигуре, и тут же явственно его окликнул удивленно-звучный голос дочери:

- Па-а, куда ты? И зачем ты?

Ему было не очень приятно видеть в этот час рядом с дочерью рослого, не первой молодости актера Светозарова, жгучего красавца, анекдотиста, выпивоху, любителя розыгрышей, дважды женатого и дважды разведенного, с манерами опереточного дамского угодника, и Васильев почувствовал колкий, оскорбительный холодок от наивной неопытности и чрезмерной неразборчивости дочери.

- Тебе, вероятно, пора, Вика, - сказал Васильев и оглядел Светозарова с искренним любопытством. - И вам, молодой человек неотразимой

наружности, пора бы уже отпустить советскую студентку, которой вставать на лекцию в семь.

- Виктория, вы должны подчиниться старшим, - заговорил глубоким баритоном Светозаров, изображая благоразумную покорность. - Владимир Алексеевич, великодушно извините меня за непредвиденную полночность... Готов и в монастырь замаливать грехи, если бы адрес был хоть одного действующего. Негде покаяться.

- Пожалуйста вместо обители со мной в лифт. Я объясню, как поступить.

- Па-а, перестань! - возразила Виктория со смехом. - Начинаются советы и поучения! Анатолий рассказывает смешные истории, а я хохочу! Ты слышал о репетициях во МХАТе? О Массальском и Ершове? Нет? Как во время пьесы они подпрыгивали на сцене по сигналу "брэк"?

- К сожалению и прискорбию, не слышал, - сказал Васильев, насмешливо обращаясь к Светозарову, вмиг изобразившему послушное внимание домашнего мальчика. - Вы, Анатолий, не устали языком артикулировать? Посмотрите на часы, очаровательный любитель монастырей. Время уже неприличное.

- Артикулировать? Ха-ха! Как, как? - почтительно поразился Светозаров. - Не понял мысль, Владимир Алексеевич, по темноте своей! Что я не устал?

- Ну, попросту болтать без передышки.

- Вы меня обижаете. За что? Незаслуженно! Без вины виноват!

- Я очень сожалею.

"Что это со мной? Почему я раздражаюсь, когда надо сдерживаться?.."

Подошел лифт, освещенный, сиротливо пахнущий морозной одеждой, студеной зимой, с натоптаным снегом на полу, и Васильев, опускаясь в этой удобной механической кабине двадцатого века, несущей его вниз мимо затихших до утра чужих, успокоенных сном квартир, поморщился, закрыл глаза и подумал о потерянном времени и полной ненужности всего того, что делал и говорил целый вечер дома, устав воспитанно возражать гостям, не чуждым самонадеянно утвердить и особые критерии в искусстве и, конечно, в живописи, легко переходившим (ради спокойствия) в суждениях своих премудрые житейские перекрестки, - и вдруг почувствовал, что в последнее время уже испытывал не раз смутно и счастливо умиротворяющее душу желание уехать в некий час из Москвы надолго, на несколько месяцев, на год, на пять лет, уехать однажды из дома или мастерской, ни о чем не жалея, поселиться где-нибудь на синих вологодских озерах, неторопливо созерцать естественное, первородное, жить с рыбаками, есть простую деревенскую пищу, писать облачные северные пейзажи, неизощренные портреты рыбаков, прожженные солнцем и водкой лица...

Ему не работалось месяца два. Он часами лежал в мастерской на старом, с привычным скрипом пружин диване, читал "Дневники" Толстого последних лет жизни, напивался весь исповедальной болью великого человека. Но затем, самоказняще и скептически охлаждаясь, Васильев возвращался к самому себе, ощущая обман и современную парадоксальность насильственного опрощения. И далекое от Москвы, шума и суеты убежище, которое порой облюбовывал он в воображении, представлялось после трезвых размышлений успокоительным "плэнэром", либо туристским, либо

курортным местом, занятым известным в искусстве человеком на определенный срок. Ему ясно было, что им в пятьдесят четыре года уже не управляла никакая честолюбивая идея (как было еще несколько лет назад), кроме двух нерушимых страстей - любви к извечной, грубой и нежной красоте природы и сумасшедшей преданности работе, этой добровольной сладкой каторге, без чего утрачивался для него всякий смысл существования.

В те дни и месяцы, когда не работалось, когда все было притушено в нем и будто дремало, он мог легко поверить, что талант его (если он прежде был) погиб, пропал, и в такие пепельные периоды привычно высокие отзывы, хвалебные статьи казались мелкими и выпренно-ложными, участие в очередной выставке ("Там обязательно должны быть и ваши вещи") запоздало ненужным, а поездки за границу, куда его стали приглашать охотно лет пятнадцать назад, занимали уже не столько вернисажем в каком-нибудь университете или частном салоне, набитом ядовитыми критиками и беззастенчивы ли журналистами, но теми изощренно-уксусными диалогами о "традиционализме" и "модерне", когда он, слушая, потягивая коктейль, загорался постепенно веселой злостью против "интеллектуальной" болтовни, начинал полусерьезно спорить, опровергать эти надоевшие до черта коллажи, поп-арты, маодадаизмы, намеренно противопоставляя им сюрреализм, а не реализм, после чего с любопытством наблюдал новый поворот спора, где господствовал риторический хаос, подобный хаосу в современной живописи Старого и Нового Света. Это, конечно, были не дискуссии стоической погони за истиной (кто бы осмелился указать ее в век сомнений?), а была своего рода игра, развлечение, умственные качели, убийство свободного времени,

доходная профессия взрослых, утомленных цивилизацией людей, ненавидящих художников и влюбленных в них. И общение с ними было небезынтересно Васильеву до тех пор, пока не открылась угнетающая однообразность повторений: и одни и те же разговоры, и одни и те же вопросы, и похожие один на другой отели, и "стандартфрюштуки", и "ленчи", и одинаковые физиономии портье и кельнеров.

И Васильев уже отказывался от приглашений, перестал ездить за границу, а однажды, в ресторане клуба, случайно услышал вожделенную фразу: "А я завтра наконец-то сяду в отдельное купе "эсвэ", лягу на приготовленную постель, высплюсь как следует и послезавтра буду в Париже", - услышав эту фразу, исполненную томительного желания сбывающейся мечты, Васильев вопросительно взглянул на соседний столик, увидел там в компании коллег уважаемого акварелиста, не вполне трезвого, сладостно подкладывающего ладонь ковшиком под толстую малиновую щеку, выражающего так неодолимое влечение к вагонному отдыху, и ощутил во фразе и лицедействе акварелиста не мечту об отдыхе в отдельном купе спального вагона, а просто тягу за границу - к пестрой толпе на зеленых, солнечных, аккуратно ухоженных бульварах, к древним островерхим соборам на отполированной брусчатке средневековых площадей, к теплу и мягкому воздуху, к сверканию зеркальных витрин и шумной многолюдности на торговых улицах, к красным огням и рекламам ночных кабаре, к маленьким кинотеатрам, полупустым, уютным, где разрешено курить, - то есть ко всему тому, к чему тянуло и его еще два года назад.



Акварелист зорко перехватил взгляд Васильева и вскинул неопрятные брови, изготовленный к раздражению и обиде (господи, спаси нас от неврозов двадцатого века!), но Васильев с невозмутимым миролюбием сказал: "Сочувствую". - "Чему же такому вы сочувствуете?" - спросил коллега, густо багровея, и выше возвел взлохмаченные брови. "Вашим хлопотам", - ответил Васильев, не считая нужным объяснять, что хлопоты накануне всякой поездки за границу всегда связаны с ожиданием приятного путешествия и, разумеется, необычных, всегда радостных перемен: европейские вокзалы и аэропорты, неизменное кофе в баре, рукопожатия, приподымание шляп, вежливые улыбки, "Что вы будете пить?", "Не пойти ли нам вечером на нашумевший неприличный фильм?" и химическая душистость розового мыла в ванной, запах озонатора в туалете, белое сияние кафеля, тщательное бритье перед освещенным зеркалом и свежие прохладные сорочки по утрам, тесными воротниками жмущие шею на вечерних приемах, фальшиво-приветливая игра глаз, простодушное удивление по поводу того, что в России все-таки есть искусство и даже хорошие портные, вездесущие репортеры бойких газет, поджидавшие, по обыкновению, в вестибюлях отелей за столиками с апельсиновым коктейлем, стереотипные "непровокационные" вопросы, десятки раз задаваемые в разных странах мира... "Сочувствую вашим заботам, не более того", - договорил без выражения Васильев, а его коллега, весь коньячно-багровый, натужно выпустил ненатуральный хохоток, самолюбиво выговорил: "Вы либо сноб, Васильев, либо завистник". - "И то и другое вместе", - сказал Васильев, но тотчас подумал с грустным сожалением, что пресытился, наелся

досыта, до тошноты, "заграницами", устал, удовлетворил лохматое любопытство, и ничто заманивающее не связывало его теперь ни с Парижем, ни с Нью-Йорком, ни со Стокгольмом, городами, такими влекущими, пленительными издали и такими обыденными вблизи. Он не мог в них сосредоточиться, они не вызывали легкого пьянящего возбуждения, тщеславной дерзости, что иногда предшествовало желанию взяться за работу. Из-за границы он не привез ни одной добротной работы, лишь эскизы и беглые зарисовки в записной книжке оставались, как звук мотива или воспоминание, как дальний ответ скользнувшего сна. И все же исключением он считал Венецию, куда дважды приезжал туристом, а третий раз по приглашению ассоциации итальянских художников был прошлой осенью вместе с Марией, уже хорошо зная колдовство города на воде, помня названия улочек, набережных и мостов над каналами, названия приветливых ресторанов близ собора и площади Святого Марка...

Здесь он тоже ничего не писал, опасаясь быть копиистом, убежденный в том, что самый плохой художник может "начирикать" пейзаж Венеции, столетиями вбиривший в себя идею света, настроение и переизбыточную красоту.

Здесь, в этот последний приезд в Венецию, Васильев впервые серьезно почувствовал свое тягостное переутомление, свое нездоровье, осложненное какой-то странно молчаливой размолвкой с Марией, ничем не похожей на прежние ссоры, мимолетные, как дождь сквозь солнечные лучи.

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного произведения невозможно в связи с ограничениями по IV части ГК РФ.

Эту книгу вы можете почитать в  
Оренбургской областной универсальной  
научной библиотеке им. Н.К. Крупской  
по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20  
тел.: для справок: (3532) 77-92-66

